

Григорий Кружков

СТИХИ О МЕРТВОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

I

В апреле 1846 года, на волне грандиозного успеха своего стихотворения «Ворон», Эдгар По печатает в нью-йоркском журнале статью «Философия творчества», имеющую целью показать, что это стихотворение создавалось не интуитивно, не по вдохновению (как думает публика), но по законам логики, последовательно, как решаются математические задачи.

Приступая к доказательству, Эдгар По — в согласии с Кольридом и Вордсвортом — признает, что цель поэзии — наслаждение. Поэт из всех его видов выбирает то «наиболее полное, наиболее возвышающее душу и наиболее чистое наслаждение», которое приносит созерцание прекрасного. Далее, выбрав своей сферой *прекрасное*, поэт должен найти нужную интонацию, и Эдгар По доказывает, что лучшая интонация для данной цели — печальная. «Прекрасное любого рода в высшем своем выражении неизменно трогает чувствительную душу до слез. Следовательно, меланхолическая интонация — наиболее законная из всех поэтических интонаций»¹.

Далее, следуя все тем же строго логическим, индуктивным путем, поэт приходит к заключению, что «смерть прекрасной женщины, вне всякого сомнения, является самым поэтическим предметом на свете».

Но на этом автор не останавливается. Он продолжает описывать процесс создания «Ворона» шаг за шагом, и каждый последующий шаг необходимо вытекает из предыдущего — и так далее, и так далее, пока стихотворение не оказывается «решенным», как задача, с начала до самого конца, до последнего хриплого крика Ворона: *Nevermore!* Излагает Эдгар По увлекательно и убедительно, но возникают и сомнения. Разумеется, в каждом сочинении присутствует авторский умысел. Поэтом, как правило, движет не только стремле-

¹ Перевод В. Рогова.

ние поделиться своим переживанием или озарением, но (одновременно!) и суетное желание сочинить хорошее стихотворение. При этом в распоряжении поэта имеются некоторые профессиональные приемы. Ничего необыкновенного тут нет: ораторский пафос не отменяет ораторского искусства. Тем более это верно в стихах, где все основано на мере и метре, то есть на расчете. Помните у Пушкина:

А точно: силой магнетизма
 Стихов российских механизма
 Едва в то время не постиг
 Мой бестолковый ученик.

Так что, когда Эдгар По говорит, что стихотворение конструируется, как механизм, он до известной степени прав... Но тема, но чувства! Простодушный читатель всегда думал, что не поэт ищет тему, а тема сама находит поэта, всецело овладевает им и заставляет его взволнованную душу излиться на бумаге. Эдгар По опровергает это. Он распространяет работу интеллекта и на тему, и на сюжет, и на поэтические образы. Да полно, уж не мистифицирует ли нас автор? Не выдуманно ли все задним числом, а *posteriori*? Может быть, и выдуманно. Но в каждой мистификации, как известно, есть доля правды.

Теоретические построения поэтов обычно основываются на их собственной практике. Действительно, самые знаменитые стихотворения Эдгара По посвящены воспоминаниям об умершей возлюбленной. Кроме «Ворона», это и «Линок» (1831):

Разбит, разбит золотой сосуд! Плыви, похоронный звон!
 Угаснет день, и милая тень уйдет за Ахерон!
 Плачь, Гай де Вир, иль, горд и сир, ты сладость слез отверг?
 Линок в гробу, и Божий мир для наших глаз померк.¹

Это и «Улалюм» с ее знаменитой строкой-кульминацией (1847):

«Вот могила твоей Улалюм!»

И, наконец, «Аннабел-Ли» (1849):

¹ Перевод Н. Вольпин.

Это было когда-то, в далекой стране,
Где у берега спят корабли.
Там я девочку знал (это было давно),
И я звал ее Аннабел-Ли,
Я жил ею одной, и она — только мной,
И, играя, мы вместе росли.¹

Пушкин, скорее всего, ничего не слышал об Эдгаре По, который был младше на десять лет (1809 — 1849), но у него есть стихи на ту же романтическую тему. Из них, по крайней мере, два связаны с именем Амалии Ризнич, двадцатилетней жены приехавшего в Одессу сербского негодянта, по своему происхождению итальянки. Судьба Амалии трагична: она родила сына, уехала с ним в Италию лечиться и вскоре скончалась там от чахотки в возрасте двадцати двух лет. Летом 1823 года в Одессе Пушкин, судя по всему, был одновременно влюблен в двух женщин: графиню Воронцову и Ризнич (в молодости это бывает!). Их головки во множестве украшают пушкинские рабочие тетради того времени, порою соседствуя друг с другом. Что касается отношений поэта с Екатериной Воронцовой, то они, по-видимому, «были серьезны только с его стороны», как выразилась в письме мужу главная его confidentка в это время княгиня Е. Вяземская. О его отношениях с Амалией Ризнич нам почти ничего не известно достоверно — кроме того факта, что это увлечение сопровождалось жгучей ревностью с его стороны. Тут мы имеем фразу из письма его брата Льва: *в припадке ревности пробегает пять верст с обнаженной головой под пальцем солнцем*.

По-видимому, воспоминанием об этих муках ревности пропитаны две выпущенные строфы из «Евгения Онегина»:

XV

Да, да, ведь ревности припадка —
Болезнь, так точно как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет,

¹ Перевод В. Жаботинского.

Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж конечно без боязни
Взойдет на пламенный костер
Иль шею склонит под топор.

XVI

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой.
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день:
Почий, мучительная тень!

«Мучительная тень» — это она, Амалия Ризнич. Почти теми же словами поэт отзовется о ней, к тому времени почившей, в посвященном ее памяти стихотворении.

Весть о смерти Ризнич в Италии пришла к нему в Михайловское с опозданием на год. 29-м июля 1826 года датирует Пушкин стихотворение «Под небом голубым своей страны родной...» и делает внизу приписку: *Услышал о С<мерти> 25 <июля>*.

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...

Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;

Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть
И равнодушно ей внимал я.

Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!

Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

Разберем сначала, с первых двух строф. Речь идет об умершей женщине, которую поэт любил; но он не плачет о ней и не горюет: наоборот, равнодушно внимает вести о смерти. «Плачь, Гай де Вир!» Но Гай де Вир не хочет плакать. Вместо того он абстрактно рассуждает о какой-то «недоступной черте»; даже описание смерти он дает со странной, двусмысленной интонацией: «Томилась, увядала, увяла *наконец*».

Нет, он, конечно, пытается пробудить в себе сострадание, но напрасно — в его душе не находится для умершей «ни слез, ни пени». Этот уже обветшалое к тому времени поэтическое клише («ни слез, ни жалоб») лишь подчеркивает разрыв поэта с сентиментальной традицией и переход к тому, что можно назвать «новым психологизмом».

Что же *на самом деле* испытал Пушкин при получении известия о смерти Ризнич? Этого мы не знаем. Можно лишь предположить, что, как всякий живой человек, он испытал целую гамму разноречивых чувств. Но было бы наивно ожидать, что в стихах поэт постарается дать ясный и точный отчет — такое невозможно, да и не нужно для стихов. Пушкин пишет элегию на смерть когда-то любимой женщины, и как он ее пишет — определяется как его непосредствен-

ным сердечным откликом, так и художественной задачей. И даже, как ни кощунственно это звучит, творческим соревнованием.

Двумя годами раньше Пушкин прочел элегию Е. Баратынского «Признание», только что опубликованную в альманахе «Северная звезда», и не просто восхитился — возревновал. В письме А.А. Бестужеву 12 января 1924 года он восклицает: «Баратынский — прелесть и чудо, «Признание» — совершенство. После него не стану печатать своих элегий...»

В «Признании» поэт, после долгой разлуки повстречав предмет своей давней любви, признается, что его сердце к ней охладело. Сравните:

Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я...
(А. Пушкин)

Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья...
(Е. Баратынский)

Герой элегии Баратынского так объясняет свое охлаждение:

Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных *развлекся я душою.*

Вот что должно было восхитить Пушкина — эти «прозы при-стальной крупницы» в стихах, их психологическая точность: жизнь с ее волнениями и заботами *отвлекает* человека, стирает свежесть его воспоминаний, даже самых дорогих.

Пушкин следует Баратынскому в этой мотивировке. Лирическая дерзость его признания в бесчувственности, при сравнении двух элегий, не совсем нова: он следует по уже проложенному пути. В «Евгении Онегине» он разовьет и доведет до логического конца этот мотив «онемения сердца».

Теперь взглянем на третью строфу. Первое впечатление — слишком много лишних слов. Разве недостаточно: *любил с таким безумством и мученьем?* «Пламенная душа», «тяжелое напряжение», «томительная тоска» — это просто искусственный наполнитель строфы. Зачем эти стертые слова Пушкину, славящемуся краткостью и емкостью поэтической фразы? А дело в том, что в стихах длительность речи должна соответствовать длительности действия. Та лихорадка любви и ревности, тот тяжелый, мучительный бред, которые он вспоминает, казались ему тогда бесконечным и безвыходным кругом. Вот почему это нельзя проговорить одной фразой.

Пушкинскую несравненную силу эпитета мы встретим дальше. В последней строфе, начинающейся словами: «Где муки, где любовь?» — есть одно слово, поражающее своей неожиданностью. Оно как будто выламывается из риторически безукоризненной конструкции: «Где же она, бывшая любовь? Для той, кого я любил с таким упоеньем и мукой, я не нахожу ни слезинки, ни слова сожаления».

Но к чему тут эпитет *«легковерной»* — что оно означает? *Для бедной, легковерной тени...* На мой взгляд, это пуанта стихотворения.

Почему он назвал ее легковерной? Потому что в самый страстный миг, в миг самозабвения женщина спрашивает своего любовника: «Навсегда? Это навсегда?» — и верит ответу мужчины, и вторит его клятвам.

Но ничего не бывает навсегда. Так много сказано одним словом. Вот когда он ее и вправду пожалел.

II

В 1830 году в Болдино Пушкин пишет второе стихотворение, посвященное памяти Амалии Ризнич, «Для берегов отчизны дальней...» Их парность со стихами 1926 года несомненна. Вторая строка второго стихотворения: «Ты покидала край чужой» — перекликается с началом первого: «Под небом голубым / Своей страны родной...»

Но это стихотворение совсем иное. Словно все мучения и обиды забыты, а прежняя любовь очнулась и воскресла.

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный

Я долго плакал пред тобой.
 Мои хладеющие руки
 Тебя старались удержать;
 Томленье страшное разлуки
 Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
 Свои уста оторвала;
 Из края мрачного изгнанья
 Ты в край иной меня звала.
 Ты говорила: «В день свиданья
 Под небом вечно голубым,
 В тени олив, любви лобзанья
 Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
 Сияют в блеске голубом,
 Где тень олив легла на воды,
 Заснула ты последним сном.
 Твоя краса, твои страданья
 Исчезли в урне гробовой —
 А с ними поцелуй свиданья...
 Но жду его; он за тобой...

Обратим внимание на строки 9 — 12: Ты говорила: «В день свиданья / Под небом вечно голубым / В тени олив любви лобзанья / Мы вновь, мой друг, соединим».

Не исключено, в этих строках отразился пушкинский план побега из Одессы за границу в 1823 году; но об этом можно только гадать.

Какой была Амалия Ризнич *на самом деле*? Яркой, жизнерадостной, притягательной — это несомненно. О большем судить трудно: у нас нет даже ее писем — лишь поверхностные отзывы светских знакомых. Но из стихотворения перед нами возникает живой, зыблущийся образ влюбленной женщины — той самой, которую он назвал «легковерной» в стихах 1826 года и которая звала его с собой в Италию. «В тени олив, любви лобзанья...» — Навсегда, навсегда.

Там же, в Болдино, несколькими днями раньше или позже Пушкин перевел стихотворение Барри Корнуолла «Заклинание». Соб-

ственно говоря, «перевел» — здесь совсем не подходящее слово. Лишь его первую строфу можно назвать переводом, дальше это совершенно самостоятельное произведение.

ЗАКЛИНАНИЕ

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне всё равно: сюда, сюда!..

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но, тоскуя,
Хочу сказать, что всё люблю я,
Что всё я твой: сюда, сюда!

Между «Заклинанием» и «Для берегов отчизны дальней» сходство в главном мотиве *свидания с мертвой возлюбленной*. В том стихотворении герой ждет, чтобы воссоединиться с ней за гробом:

А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его, он за тобой...

А в этом он призывает мертвую возлюбленную обратно на землю, чтобы воссоединиться с ней здесь:

Хочу сказать, что всё люблю я,
Что всё я твой: сюда, сюда!

Свидание с мертвой возлюбленной или наоборот — с мертвым возлюбленным — популярная тема европейского фольклора и романтической поэзии — от «Леноры» Бюргера до «Коринфской невесты» Гете. В первом из двух пушкинских стихотворений она, конечно, совмещена с христианским мотивом воссоединения любящих за гробом.

Обратим внимание еще на один важный момент в «Заклинании». Это мотив «людской злобы», убившей его любимую (у Барри Корнуолла его не было). Именно здесь он впервые называет ее «другом»: перед лицом враждебного света они не только любовники, но и союзники.

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего...

Людская злоба играет здесь ту же роль, что «дурной глаз» и «злой язык» в стихотворении Эдгара По «Линор»:

How shall the ritual then be read — the requiem how be sung
By you — by yours, the evil eye — by yours the slanderous tongue
That did to death the innocence that died and died so young?

(Как вы будете исполнять похоронный обряд, как будете петь погребальную песнь — вы, злые очи и лживые языки, причинившие смерть той невинной, которая умерла — умерла такой молодой?)

III

В заключение рассмотрим еще одно стихотворение, написанное в Болдино, «Прощание». Это не стихи о мертвой возлюбленной в собственном смысле слова; но разлука, несущая с собой забвение, приравнивается в нем к смерти, и давняя любовь представляется по-эту одетой *могильным сумраком*. Вот эти стихи целиком:

ПРОЩАНИЕ

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь вспоминать.

Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.

Адресат этого стихотворения неизвестен. Скорее всего, у него нет определенного адресата — образ женщины в нем обобщенный и идеализированный. Бросается в глаза разница тона по сравнению с написанными в ту же осень «Заклинанием» и «Для берегов отчизны дальней...» — не любовный призыв к мертвой и не живое воспоминание о минутах страсти, но сдержанная печаль и робкая нежность. И обращается он здесь к женщине не как нетерпеливый любовник («Я твой: сюда, сюда!») или пылкий обожатель («Но жду его; он за тобой...»), но как друг — доверительно и серьезно.

Вообще, на наш взгляд, Пушкин ценил дружбу выше любви. Достаточно сравнить его письма к близким друзьям с письмами к женщинам. В тех он искренен, прост, делится своими самыми заветными мыслями; в этих — неизменно любезен, порой пылок, порой уклончив, и всегда выражается фразами, словно заимствованными из французских романов, — недаром большинство его писем к женщинам написано по-французски.

Как кажется, представление Пушкина о любви шло из XVIII века. Оно включало в себя много любовной тактики и стратегии, нацеленной на «победу» над женским сердцем, — той самой «науки страсти нежной», над которой он сам смеялся в «Онегине», — но едва ли связывалось с чувством ответственности или с тем «обменом тайных дум», который, по Баратынскому, является сутью настоящей любви.

Так что заключительные строки «Молчания», образ двух друзей, молча, без слов обнявших друг друга на пороге тюрьмы — так Пушкин обнялся в последний раз с Кюхельбекером, встретив его в руках жандармов на почтовой станции — много говорит о героине (пусть даже выдуманной) этого стихотворения. И не меньше — о достигшем зрелости поэте, научившемся так серьезно и просто, без фейерверков, писать о любви и о разлуке:

Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.

Таковы эти четыре стихотворения «о мертвой возлюбленной», первое из которых («Под небом голубым...») написано в Михайловском, а три последние — в Болдино осенью 1930 года, накануне уже решенной женитьбы. «Прощание», помеченное 5 октября, самое раннее из этих болдинских стихотворений. Но прочитанные именно в такой последовательности — «Для берегов отчизны дальней...», «Заклинание» и «Прощание» — они дают особенно выразительное представление об эволюции в творческом сознании Пушкина той темы, которую Эдгар По считал самой лучшей и самой возвышенной темой для поэзии.

